

Веч. Москва - 1999 - 14 окт. - с. 7

# Шейлок — это не только золото

## Два часа с Михаилом Козаковым за кулисами накануне юбилея

Есть в мировой драматургии такой персонаж, которого играть не то что побаиваются, но крепко задумываются, как к нему подходить, — больно уж тема взрывоопасная (между прочим, через нее прошли такие корифеи английской сцены, как Эдмон Кин или Лоуренс Оливье). Этот персонаж — Шейлок из шекспировского «Венецианского купца». Напомним — это богатый мрачный еврей, жадный, мстительный, ожесточенный презрением своих сограждан-христиан. Автор страшного договора: если христианин-должник не вернет ему долг, он имеет право вырезать из его тела фунт мяса. Эта роль мучила Михаила Козакова уже давно, и он предпринимал не одну попытку сыграть Шейлока. Теперь его давняя мечта начинает обретать реальность в Театре им. Моссовета. Режиссер — Андрей Житинкин.

Ольга ФУКС

— Если я скажу, что так хочу сыграть Шейлока из-за трагизма этой роли и «национального конфликта», это будет правдой, но неполной, — говорит мне Михаил Михайлович перед репетицией, пока остальные актеры подтягиваются. — Есть в этом тексте какие-то ритмические структуры, которые меня завораживают. Когда я анализирую текст (у нас же все-таки вербальный театр), я понимаю, насколько замечательно он сделан (имею в виду перевод Щепкиной-Куперник). Форма текста, ритм диктуют характер. Характер о-очень сложный, очень сложность меня и привлекает. Пушкин хорошо про него сказал, что, мол, у Мольера Скупой только скуп, а Шейлок еще и чадолубив. Язвитель...

— Мститель.  
— Да, мститель, но мне бы не хотелось всю роль сводить к тому, что ненависть порождает ненависть. Пьесе ведь у нас почти не ставили. До революции ставили мало — боялись антисемитизма. Потом наоборот — спотыкались о фразу «Вы нас учите ненависти, христиане»... Заходите, господи мастера, мы тут от скуки треплемся!

\*\*\*

Житинкин называет Козакова Мастером. Тот его — Маэстро. Маэстро не надо ни подгонять, ни настраивать Мастера, ни объяснять ему задачу-сверхзадачу. Козаков вгрызается в роль, как в то самое мясо, которое его герой, убитый предательством единственной дочери, хочет выдрать у своих врагов. И потно объясняет, рассуждая вслух, каким должен быть его Шейлок. Обсуждению деталей костюма (Козаков даже принес на репетицию привезенную из Израиля накидку, которую надевают во время молитвы), уделяется не меньше внимания, чем нравственной, извините, проблематике.

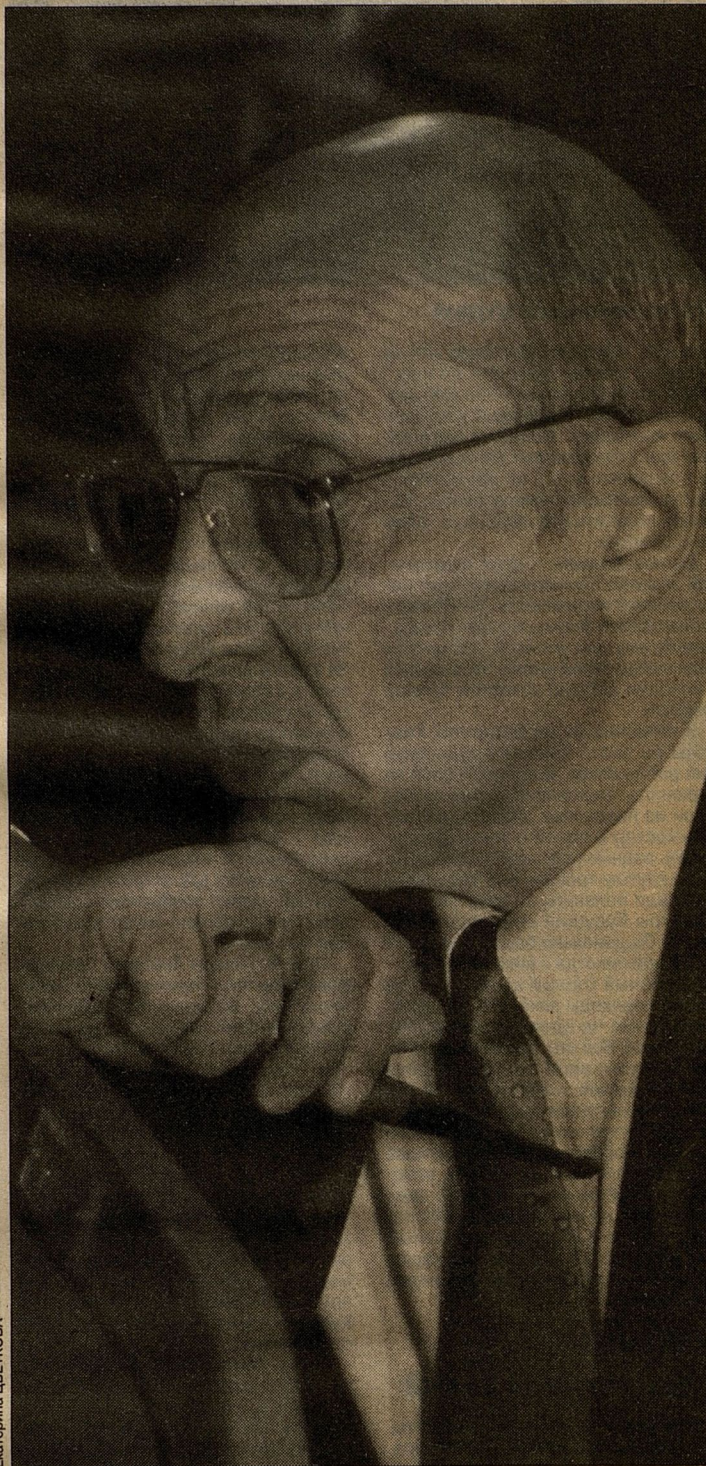
Его Шейлок — сильный, волевой мужик, босс, крестный отец, глава клана. Он безукоризненно владеет этикетом, хотя тысячелетний зов

предков держит его во власти мощных и бескомпромиссных традиций. Он собирается на ужин к своему обидчику Антонио, как хитрый игрок во вражеское логово, а вовсе не как униженный ростовщик. Но интуитивное предчувствие роковых перемен раздирает ему душу. Еврейские молитвы Михаил Михайлович по ходу дела заучивает с такой тщательностью, словно на премьеру ожидается делегация раввинов, — без всяких скидок на то, что публика этих молитв, естественно, не знает. И музыка их, окрашенная болью за свою судьбу и нежностью к дочери, так красива, что Александр Ленков (Тубал) робко просит: «Может быть, я тоже что-нибудь такое скажу... на идиш».

Козаков мечет молнии, читая шейлоковский эквивалент христовой мысли о равенстве эллина и иудея; бьет вдребезги портреты беспутной дочери и оплакивает украденное дочерью кольцо, которое та променяла на обезьянку, — подарок покойной жены, «моей Лии» (женщины здесь обязательно полезут за платками — такой силой любовь длинной в жизнь сыграл Михаил Михайлович в этих двух словах). Правда, Шейлок похода вспоминает и о цене бриллианта, и Мастеру становится любопытно, сколько же колечко стоило. Покумекав немножко («Я в цифрах ничего не понимаю»), он приходит к выводу, что колечко стоило 200 тысяч долларов. И сам изумляется не на шутку. В общем, на глазах у невозмутимого Маэстро из «отрицательного персонажа» вырастает мощная противоречивая личность. Перефразируя Станиславского, можно бы сказать: «Играя злого, ищи, где он страдает».

\*\*\*

— Ну и каким он вам представляется, Шейлок? — тербит меня Козаков, пока мы с ним бродим по бесконечным коридорам театра в поисках местечка, где можно было бы посидеть и поговорить за жизнь. Предубиленную. Достают диктофон и получаю наглядный урок того, когда не надо интервьюировать артиста, даже если в нем всегда было



Екатерина ЦЕТКОВА

в достатке, как в роге изобилия, классических цитат и собственных мыслей-афоризмов. Козаков поглощен своим Шейлоком, а я чувствую себя вампиром, сосущим его творческую энергию. Тем более что Михаил Михайлович мое самочувствие нисколько не пытается улучшить.

— Да-а, ненависть порождает ненависть.

— Сейчас в мире есть столько не-

распутанных клубков этой взаимной ненависти. Вам довелось пожить в непосредственной близости от одного из них. Как вам кажется, люди вообще в состоянии эти клубки распутывать в обратную сторону?

— Они обязаны это делать. Это очень трудный вопрос. Это видно и на примере палестинско-израильского конфликта и на примере России с Чечней. Человечество несо-

вершенно, мы все несовершенны. Вроде бы все хотят, как кажется иногда, добра, за каждым стоит своя правда. А все вместе мы ужасны, занимаемся подчас взаиморазрушением. Лучшее того, что предложил Христос, ничего не придумано — молиться даже за врага своего, молиться, возлюбить.

— Вы знаете людей, которые реально способны молиться за врага?

— Отдельные люди были и в литературе, и в жизни, слава богу.

— Скажите, когда человек вырастает в таком окружении, как «дядя Толя Мариенгоф», «дядя Женя Шварц», Ахматова, Зощенко...

— Ну не то что бы окружении, но так, знал их.

— ...А потом выходит в жизнь с памятью такого общения, это повышает его иммунитет против предательства, подлости и так далее. Или, наоборот, делает его более уязвимым?

— Не знаю, с одной стороны, всегда есть пример для подражания, с другой стороны, все время задаешь себе вопрос, соответствую ли ты сам этому уровню. И задумываешься, а что бы сказал такой-то, не обязательно Мариенгоф, как бы он посмотрел на такой-то поступок. Иногда бывает стыдно.

— Скажите, наше время (я имею в виду последний месяц) не внушает вам еще больший страх, чем тот страх неволеванности, который когда-то погнал вас в Израиль?

— За детей страшно. Но надо как-то надеяться, противостоять. Надо верить, что все обойдется. А уехать — это для меня ужасно, я же на себе это все уже проверил. Остается надеяться, что как-то все образуется. Хотя я не осуждаю и даже понимаю многих людей, которые прекрасно существуют вне России. Но для меня органично жить здесь.

— Многие наши деятели культуры знали, что такое nostalgia, но почти никому не удалось пережить возвращение домой. Вам — удалось.

— Для меня это было непросто, но органично. Вот это уж точно было органично. Трудно было вписаться в профессиональную картину, обрести привычный московский ритм. Но я как-то даже сейчас и забываю, что когда-то жил вне Москвы. Мне даже диковато как-то, когда меня об этом спрашивают.

— А там забывали, что когда-то жили вне Израиля?

— А там нет. Я там во многом переосмыслил самого себя — что мне органично, а что чуждо.

— Скажите, где человек раскрывается сильнее — на бумаге или на сцене?

— И там, и там. Ты читаешь чужие стихи, но ведь ты сам выбирал эти стихи, через себя пропускал. Ролью можно прикрыться. Конечно, на бумаге ты больше раскрыт сам перед собой. Как в зеркале — сколько ни прячься, все равно будут уши торчать — твои собственные.

— А перечитывать не страшно?

— Страшно, да я почти не перечитываю. Страшно перечитывать свои книги, пересматривать старые карти-

ны, старые работы. Я когда посмотрел себя впервые (а я молодой тогда был, кудрявый), так просто от стыда сполз. Ромм увидел, подошел ко мне и говорит — это нормально. Каждый человек представляет себя иным. Даже в зеркало смотреться проще, чем на себя, заснятого на пленку. Первый раз это испытать очень тяжело. В театре в этом смысле легче — нет возможности увидеть себя со стороны.

— Я видела ваш первый спектакль сразу после возвращения в Москву. Вы так волновались, что никакой профессионализм этого скрыть не мог...

— Я всегда волнуясь. Стараюсь сразу вдуматься в суть того, что мне предстоит делать. В партнера уйти. Или в то, что я хочу с залом сделать. В суть уйти. Тогда страх отступает.

— Можно ли сказать, что вы существуете в некоем компромиссе — с одной стороны, антреприза и необходимость просчитывать, при каких условиях у вас зал будет заполнен. С другой стороны, вас тянет поиграть Шейлока, почитать Бродского.

— Я, во-первых, Бродского читаю в рамках антрепризы, а во-вторых, я люблю эти пьесы, которые играю в антрепризе. Я не смотрю на это как на приработок. Попробуйте-ка насмешить людей. Это совсем не низкий жанр. Я пытаюсь существовать полноценно, широко.

— Вы можете посчитать, что пока по тем или иным причинам вам не удалось сделать после возвращения в Москву.

— Как сказано — поражение от победы ты сам не должен отличать. Я жил очень органично для себя все это время. Может быть, с чьих-то точек зрения я не сделал того, что от меня ждали. Но для себя я жил очень органично. Мы играли во всех точках мира — еще в мае в Таунхилле на Бродвее в зале на тысячу мест. Десять минут аплодисментов — это снято на пленку. Сейчас я должен забегать делать массаж, потом просмотреть еще раз Бродского, я давно его не читал. Завтра концерт в Саратове. Через день возвращаюсь в Москву и сразу на репетицию с утра, а потом в Доме кино — вечер памяти Олега Борисова, куда я приглашен. А еще есть дети, друзья, товарищи, и даже интервью. Наше интервью осложнено тем, что я еще сижу с этим Шейлоком вот здесь (Козаков ударяет себя по шее). Для меня интервью — это еще одна работа. А мне напряжения хватает. Но отшучиваться на те вопросы, которые вы задавали, не в моем стиле.

\*\*\*

Сегодня Михаилу Козакову исполняется 65 лет. Дату эту он благополучно проигнорирует — «буду работать». Зато через несколько дней после нее слетятся все птенцы «гнезда Козакова» — пятеро детей и пятеро внуков из Москвы, Америки и Грузии. «В этом смысле жизнь удалась», — говорит Козаков. Можно предположить, что она удалась не только в этом смысле.